

щих субъектов издательского процесса — автора и редактора, — но успех дела определялся не амбициями, а взаимозаинтересованными и уважительными отношениями творческих личностей. Это и свидетельствует “Сигнальный экземпляр”, отражая реальную историю книгоиздательства ВГУ. Но в нем звучит и другое: через совершенство идти к новым горизонтам. “Сигнальный экземпляр” — хороший подарок, практически полезный не только для самих издателей, но и для ученых, преподавателей вузов.

В. С. Рахманин

М. Н. Недосейкин, М. К. Попова

**КУЛЬТУРА “ПОСТ”
КАК ДИСКУССИОННАЯ ПРОБЛЕМА**

15—17 апреля 2003 г. в ВГУ состоялся международный научный семинар “Культура “Пост”: истоки, основные черты и границы явления”. Он проходил в рамках работы первого направления Воронежского МИОН “Межкультурная коммуникация и взаимопонимание культур”. В семинаре приняли участие 24 человека, из них 13 профессоров и докторов наук, 9 доцентов и кандидатов наук, 1 аспирант и 1 магистр. Докладчики представляли разные страны дальнего и ближнего зарубежья — США, Великобританию, Казахстан — и многие научные центры нескольких городов России — МГУ, РГГУ, МГИМО, Литературный институт им. М. Горького (Москва), СПбГУ, СПбГУЭФ (С.-Петербург), Российский институт киноискусства, НГЛУ (Н. Новгород), НГУ (Новосибирск), ВГУ (Воронеж).

Участники семинара ставили перед собой задачу проанализировать тот аспект современной культуры, для характеристики которого гуманитарные науки последних десятилетий используют многочисленные термины с приставкой “пост” — постструктурализм, постмодернизм, постнеклассический, посткоммунистический и т. д. Обозначив интересовавший их феномен как культуру “Пост”, ученые пытались выяснить степень его целостности, его существенные характеристики, рассмотреть подходы к его изучению. Сложность “культуры “Пост”, с точки зрения участников семинара, требовала междисциплинарного подхода и взгляда “извне”, с позиций Большой истории культуры. Последнее, как отмечали некото-

рые докладчики, затруднено тем, что ученые, изучающие культуру “Пост”, находятся внутри исследуемого ими явления.

Работа над проблемой была продолжена в ходе следующего международного научного семинара «Типология и классификация феноменов “Пост”», который состоялся 28—30 октября 2003 г. также в рамках деятельности первого направления Воронежского МИОН. По результатам работы обоих семинаров была подготовлена коллективная монография “Культура “Пост” как диалог культур и цивилизаций”, которая находится в печати. При работе над этим изданием редакторы обнаружили, что некоторые из поднимающихся в ходе дискуссий на семинаре “Культура “Пост”: истоки, основные черты и границы явления” вопросов остались за рамками окончательного текста разделов книги. Между тем острота — иногда и спорность — обсуждавшихся вопросов и не вошедших в книгу рассуждений и реплик, думается, представляет определенный интерес и может послужить стимулом для дальнейшей работы над проблемой. Это соображение побудило нас подготовить стенограмму наиболее интересных моментов дискуссии.

После первых докладов развернулось обсуждение вопросов развития современной литературной теории, которые были затронуты в докладе доктора филологических наук, профессора *С. Н. Зенкина* (РГГУ)*. По мнению докладчика, литературная теория двадцатого века была построена по образцу дискретных моделей, что обусловило те трудности и противоречия, к которым она пришла в ходе своей эволюции (вплоть до собственного отрицания). Исходя из этого положения, С. Н. Зенкин предложил переосмыслить некоторые фундаментальные понятия литературной теории в новом ключе — по образцу континуальных моделей, позволяющем найти выход из сложившейся критической ситуации. В первую очередь это касалось понятия мимесиса, сюжета и художественного образа.

М. К. Попова, доктор филологических наук, профессор (ВГУ), задала докладчику уточняющий вопрос о путях преобразования категорий сюжета, образа, мимесиса. С. Н. Зенкин пояснил: “Говоря о сюжете, я имел в виду, что его необязательно трактовать как систему дискретных функций и мотивов по структуралистской модели, которая не исчерпывает содержание сюжета. Есть основание усматривать в повествовательных сюжетах некоторый энергетический обмен между героями, влияющими друг на друга, в этом случае каж-

* Мнения участников излагаются по стенограмме (звукозаписи) с той степенью полноты, которая представляется целесообразной и приемлемой для изложения общего хода обсуждения, а также в зависимости от степени выраженности интереса участников дискуссии к соответствующим позициям.

дое событие в сюжете будет представляться как некоторая развязка, выход этой энергии. Недаром большинство сюжетов посвящено всевозможным насильственным действиям, которые резко разрывают прежние взаимоотношения между людьми.

Я связываю это понятие с понятием сакрального, потому что энергия, о которой идет речь, обладает таким качеством как “заразительность”. Скажем, в новеллах Эдгара Аллана По эффективно прослеживается циркуляция опасной, смертельной энергии (“Падение дома Ашеров”, “Лигейя”, “Черный кот” и др.), которая последовательно заражает разных персонажей новеллы. Более того, через посредство авторского дискурса заражает также и читателя, чем обусловлен беспокоящий эффект этих текстов. Что-то подобное писал Ролан Барт о заразительной роли кастрации в своем знаменитом анализе рассказа Бальзака “Сарразин”. Я думаю, некоторую аналогию может представлять также понятие Бахтина — “хронотоп”. Это некоторая непрерывная пространственно-временная среда, которая окружает данного героя, действует в данном тексте, может передаваться, распространять свое излучение на других героев, на смежные тексты и т. д. Современные исследования показывают, что идея хронотопа формулировалась Бахтиным в прямом противопоставлении формалистической идее сюжета (от Шкловского до Проппа и др.). Стало быть, я еще раз подчеркиваю, что дело не в том, чтобы отбросить подобные функциональные модели, а чтобы увидеть за ними реализуемую ими, через их посредство континуальную модель перетекания и зарядки/разрядки некоей энергии.

Что касается мимесиса, я имел в виду то, что понятие телесности может быть поставлено на то место, которое традиционная эстетика (гегелевская и т. п.) называла содержанием. В самом деле, в современной теоретической рефлексии эта традиционная оппозиция — материя и дух — все больше заменяется оппозицией тело и дух, которая еще более традиционна, но несколько по-другому структурируется. В тексте, художественном произведении, высказывании выслеживаются не какие-то безразличные формы отражения материи, которые каждый теоретик и аналитик может толковать по собственному произволу, а некоторая конкретизированная (иногда лично или телесно) фигура. Она может связываться с тем или иным персонажем и его поведением или с фигурой автора, даже читателя. Но в принципе эта телесная фигура не обязательно имеет имя, не обязательно связана с какой-то определенной личностью. Важно, что у нее есть определенная организация. Например, тело экстатическое, тело, плотно сливающееся с внешним пространственным контуром и собственными

движениями своими придающее очертания этому пространству и др., которые уже подвергались исследованию в работах отечественного ученого М. Б. Ямпольского.

Таким образом, традиционное понятие мимесиса, с одной стороны, очищается от тех идеологических напластований, которые на него наложила постгегельянская традиция, предполагающая, что объектом подражания является некая идея (как ее ни понимай — в идеалистическом или материалистическом духе), а, с другой, возвращается парадоксальным образом к своим истокам, т. е. к тому, как его понимал Аристотель. Миметическое отношение — это отношение к некоторым телесным действиям человека, включая и речевую деятельность. Я делаю так, как делает кто-то другой, я подражаю ему. А это телесная операция, которая требует “телесного” анализа”.

Далее в дискуссию включилась доктор филологических наук, профессор МГУ, *Н. А. Соловьева*, которую заинтересовала мысль С. Н. Зенкина о том, что литературная теория по своей сути интернациональна. С точки зрения *Н. А. Соловьевой*, очевидно, что существуют национальные традиции в этой области, например, немецкая рецептивная эстетика. Исследовательница также просила докладчика прояснить соотношение консервативности с такой дисциплиной как история литературы.

Отвечая на реплику *Н. А. Соловьевой*, С. Н. Зенкин пояснил: “Как мне представляется, консервативен сам дискурс истории литературы. Он обладает высокой степенью самоповторяемости, самовоспроизводимости и инерции. История слишком связана с нарративной конструкцией, с кумулятивным построением, накоплением знаний и опорой на старые знания, чтобы у нее появились возможности для эффективного самореформирования.

Что касается интернациональности теории, то различие всевозможных школ в теории не противостоит общему теоретическому подходу, потому что эти школы в определенный момент стали размножаться катастрофическим самоотрицанием. Каждый год — новая школа. Эта множественность демонстрирует дискретность подхода к культуре, который теория положила в свое основание. С другой стороны, в большинстве этих школ практиковался, в той или иной степени, метод силовых прочтений текстов.

Рецептивная эстетика, в той мере, в которой основы ее были заложены в работах Яюсса и Изера, занимает особое положение в этом контексте, так как эта эстетика апеллировала не только к научным моделям семиотики или поэтики, но и к искусству толкования, т. е. к герменевтике. В дальнейшем, насколько мне

известно, эволюция этих идей (даже не в Германии, а скорее в Америке — теория чтения Стэнли Фиша) закономерно привела все к тому же релятивизму смыслов и силовым прочтениям, что и является определяющим для теории. Грубо говоря, различие между теорией и историей в том и заключается, что историк традиционно стремится вывести смысл текста из ближайшего его контекста, который он хорошо знает и изучает, а теоретик накладывает на этот текст очень обобщенные, не прилегающие к нему плотно теоретические категории, и тем самым идет на риск силового прочтения. Теория поэтому по необходимости революционна и шатка в своих основаниях, а история ближе к тому, что она считает истиной, но зато консервативна и труднее поддается реформированию”.

Профессор *Т. А. Никонова* (ВГУ) предположила, что у историка и теоретика разные предметы изучения. С. Н. Зенкин возразил: “Предмет у них скорее один и тот же. Другое дело, что они смотрят на него с разных точек зрения. Историк рассматривает текст с точки зрения его написания, генезиса текста. Теоретик, отказываясь от идеи автора, скорее делает упор на операции чтения. Можно сказать, что история и теория апеллирует к разным моментам текста. Хотя тот же Яусс хотел именно на чтении создать настоящую историю литературы”.

Другим важным узлом дискуссии стал вопрос о переводе философских текстов французских мыслителей, который был затронут в докладе доктора филологических наук, профессора *С. Л. Фокина* (СПбГУЭФ). В выступлении были рассмотрены не только сугубо профессиональные проблемы перевода довольно сложных текстов классиков постмодернизма (Деррида, Делез и др.), но и социокультурные условия их вхождения в отечественные гуманитарные науки. Было сделано предположение, что особенности переводческой стратегии зависят от политической составляющей современной жизни в России. Факт этот, что довольно примечательно, упорно не замечается, вытесняется, формируя своеобразное “бессознательное” переводческих проектов.

Отвечая на вопросы кандидата филологических наук *В. В. Струкова* (ВГУ) о том, не является ли определенная “неудача” переводов того же Делеза в некотором роде “удачей” того философского проекта, который называется “Делез”, и не может ли эта лингвистическая невозможность адекватного перевода быть вписана в сами тексты постмодернистских философов, С. Л. Фокин сказал: “Пафос моего доклада заключался несколько в другом. Перевести Делеза можно, это не самый трудный автор. Другое дело, какого

Делеза переводят у нас в России. Ведь оказалась не востребовавшей политической составляющей французской философии, то, что было нервом ее, если можно так выразиться. А это несколько другая проблема”.

Далее в дискуссию включился кандидат филологических наук *Д. Н. Песков* (МГИМО), по мнению которого сегодняшний российский читатель мало похож на французов середины двадцатого века и можно предположить, что у книг французских философов был принципиально иной адресат. *С. Л. Фокин* согласился с мнением *Д. Н. Пескова*, однако подчеркнул, что есть определенная схожесть между событиями 1968 г. во Франции и тем, что происходило у нас в стране в последние десятилетия.

Магистр *Т. Г. Завьялова* (НГУ) заинтересовалась тем, насколько вообще при переводе работ Делеза важен политический момент, дает ли он что-нибудь нужное отечественному читателю, ведь те или иные политические проблемы могут восприниматься русскими как устаревшие, как анахронизм.

В дискуссию включился *С. Н. Зенкин*, который поддержал позицию *С. Л. Фокина*: “Здесь надо сказать, что за бортом переводов Делеза остался не только марксизм, но и его соавтор Гваттари. Эти совместные работы отличаются от книг самого Делеза тем, что в них больше элементов риторической, метафорической аргументации и меньше научной строгости и концептуальных построений. Поэтому данные книги и во Франции неоднозначно воспринимаются.

Удачно намеченное Сергеем Леонидовичем Фокиным отличие филологического и философского подходов к переводу текстов позволяет сделать следующее дополнение. Фрагментарное чтение философов всегда было связано, в первую очередь, с педагогикой. Во всем мире (особенно в школах) философские тексты анализируются во фрагментах. В ситуации освоения чужого наследия, чужой традиции такой подход естественен. Другое дело, что подобная педагогическая практика должна уравниваться целостным анализом профессионалов-философов. Последнее, к сожалению, никак не наберет силу в нашей стране”.

Особый интерес у участников семинара вызвал доклад кандидата филологических наук *Н. А. Циркун* (Российский институт киноискусства) о современном состоянии отечественного кинематографа и о его попытках перейти с “языка литературы” на собственный “кино-язык”. Такая постановка вопроса позволила затронуть целый ряд актуальных проблем, связанных с влиянием постмодернизма на киноискусство, с поиском национальных особенностей

киноискусства и т. п. Естественно, что после завершения доклада у участников семинара возникли вопросы о том, существуют ли сегодня кинофильмы, в которых бы ставился вопрос о национальных стереотипах (А. С. Макарычев) и о лингвоцентризме русского кино (С. Н. Зенкин). Отвечая на них, Н. А. Циркун пояснила: “Проблема Другого (в национальном плане) очень часто становилась объектом внимания кинематографистов. В киноведении этот вопрос также активно исследуется, что свидетельствует о его большой актуальности для современного человека, современной цивилизации.

На мой взгляд, современное кино отличает недоверие к слову, в силу того факта, что кино — это искусство, прежде всего, визуальное. И язык кино должен строиться на принципе визуальности, а не на моделях, которые были позаимствованы кино из других областей культуры. Речь идет о возвращении кино к своим истокам”.

Другой важный момент в рассмотрении изучаемой проблемы культуры “Пост” был поднят в докладе М. К. Поповой, который содержал анализ автобиографической книги Ребекки Уокер “Белая, черная и еврейка”. Ее автор — дочь известной афро-американской писательницы Элис Уокер и ее мужа Мела Левенталя, еврея по национальности, адвоката, активно участвовавшего в борьбе за гражданские права негров США. После развода родителей юная Ребекка Уокер по очереди жила у каждого из них в течение двух лет. Девочка перемещалась из зажиточной еврейской семьи в артистическую богему и не чувствовала себя “своей” ни здесь, ни там. У нее сложилась своеобразная “подвижная” идентичность (*shifting identity*), анализ которой позволил докладчице поднять вопросы о соотношении понятий “маргинальность” и “идентичность” и о трансформациях национальной идентичности в современную эпоху.

В своем комментарии доклада кандидат филологических наук, доцент С. П. Толкачев (Литературный институт) остановился на соотношении маргинальности и “*shifting identity*” и предположил, что “подвижная идентичность” может быть рассмотрена как некий осциллирующий образ маргинального, интерес к которому является одной из характеристик культуры “Пост”. Главный феномен такой пост-культуры, прежде всего постколониальной культуры, — это регистрация всех маргинальных дискурсов. С. П. Толкачев высказал предположение о том, что есть некоторый качественный нюанс между *shifting identity* и *hybridize identity*, с чем докладчица безусловно согласилась.

В. В. Струков задал вопрос о том, с каким типом идентичности героиня (и в какой-то мере автор) в большей степени себя

соотносит, с маргинальностью или гибридностью. М. К. Попова отметила, что на этот вопрос трудно дать однозначный ответ, потому что в случае с главной героиней книги вообще нет однозначных ответов ни на какой вопрос. По мнению докладчицы, “с одной стороны, тот факт, как она рассуждает о себе и как оценивает сама себя в книге, позволяет нам сказать, что маргинальной личностью она себя не ощущает. Дело в том, что родители с самого детства, с младенчества, внушали мысль о том, что она обладает большой ценностью как личность и поэтому обладает всей полнотой прав, какие только есть у гражданина, женщины и т. д. Она в любой ситуации должна добиваться исполнения этих прав, что она и делает, судя по тому, как она сама о себе говорит. Но с другой стороны, можно ведь выдвинуть предположение и относительно того, что сам тот факт, что ей нужно настаивать на исполнении своих прав, говорит о некоторой ее маргинальности. А что касается *shifting identity/hybridize identity*, то в случае Р. Уокер из-за особенностей воспитания получился скорее не гибрид, а *shifting identity*”.

Ховард Фолкнер (доктор философии, университет Уошбурн, г. Топика, США) заинтересовался мнением М. К. Поповой о том, почему героиня ее доклада в течение большей части своей юности носила фамилию отца, и уже став взрослой, она выбирает фамилию матери, а фамилию отца передвигает в среднюю позицию своего полного имени.

М. К. Попова ответила: “На мой взгляд, здесь много причин, на которые указывает и сама Р. Уокер. Например, на определенном этапе она возненавидела вторую жену своего отца, и это неким образом отразилось на ее отношении к Мелу. Другая причина видится мне, конечно, и в том, что она последовала за своей матерью в ее феминистической деятельности, и в этом смысле имя матери значило для Ребекки больше, чем имя отца. Наконец, думаю, известную роль сыграло и такое человеческое чувство, как желание быть дочерью знаменитой писательницы”.

Личную ноту в обсуждение внесла *Н. Конди* (профессор университета в американском городе Питтсбурге): “Мне кажется, что в случае с Ребеккой Уокер также играет роль принадлежность к определенному экономическому классу, что является само по себе огромной темой и, безусловно, сильно влияет на формирование разного рода идентичностей. Приведу в качестве примера один автобиографический факт, если позволите. Моя семья довольно долго (десять-пятнадцать лет) жила в афро-американском районе, и дети ходили в очень хорошую школу, которая располагалась близко от нашего дома. В этой школе учились только афро-амери-

канские дети, мой сын и дочь были единственными белыми. Случалось забирать детей до окончания занятий, и когда дети спрашивали, к кому я пришла, а я отвечала, что к Коле, то дети уточняли: “Ага, к смешанному”. А он не смешанный, он белый мальчик, по лицу это видно. И я всегда думала, почему же смешанный мальчик? Потому что у них в школе только две категории: афро-американцы и смешанные, т. е. белых нет. Белые не посылают туда своих детей. На этом социально-экономическом уровне обычные средние люди не встречались с такого рода гибриднойностью, как у Ребекки. Для этого необходим более высокий статус”.

Своеобразным развитием проблематики семинара стал доклад Т. Г. Завьяловой, в котором предпринималась попытка соотнести принципы современной европейской культуры с положением дел в странах конфуцианского культурного региона и выявить правомерность употребления концепта «культура “Пост”» для характеристики современной китайской культуры.

Включившийся в дискуссию профессор *А. С. Макарычев (НГЛУ)* задал вопросы обеим докладчицам. Относительно культурного региона его интересовало, не является ли более корректным говорить не о регионе как о географическом понятии, а о культурном пространстве, поскольку, когда мы говорим о регионе, сразу же возникает вопрос, где границы этого региона, существуют ли они вообще и т. д.

По поводу *shifting identity* как феномене культуры “Пост” *А. С. Макарычева* заинтересовало соотношение между этой темой и культурой “Пост”. По его мнению, “процессы аналогичного свойства — метизация или модель плавильного котла — имеют долгую историю, они в каком-то смысле существовали всегда. Что здесь нового, что здесь от культуры “Пост”, можем ли говорить о чем-то принципиально новом, своеобразном в нашем случае? Или все-таки мы должны говорить об универсальных процессах, которые в разные эпохи по-разному воспринимались? Имеет ли все это отношение к реальности как таковой или только к реальности нашего восприятия? Мне кажется, что вот эта культура “Пост” связана с нашим восприятием тех процессов, которые в принципе новыми не являются ни в каком смысле”.

М. К. Попова согласилась с утверждением *А. С. Макарычева* о том, что в культуре “Пост” большую роль играет субъективный фактор. Раньше вопрос о “подвижной идентичности” и “гибридах” решался автоматически: капля черной крови — негр. И, с точки зрения черных националистов, всякий отход от “черной праведности” — тоже грех. Ранее господствовали однозначные

оценки, теперь таких однозначных оценок нет. По мнению М. К. Поповой, “сложность в этом вопросе действительно связана не столько с реальностью как таковой, сколько с ее идеологической обработкой”.

Т. Г. Завьялова пояснила свою позицию относительно термина “культурный регион”, назвав его устойчивым. Исследовательнице представляется, что можно употреблять оба критерия, которые А. С. Макарычев обозначил в своем вопросе. Когда мы говорим “о конфуцианском культурном регионе”, то его границы известны. Они проходят по Тихому океану, по Сингапуру, по Вьетнаму и границам Китая, исключая китайский Тибет.

А. С. Макарычев развил свое соображение: “Ну, а тысячи китайцев, которые живут в Москве, они как-то к этой культурной традиции имеют отношение? Китайцы за границей, они тоже имеют отношение к этому региону или нет? Географическая детерминированность может стать препятствием в работе с подобного рода понятиями и явлениями”.

Т. Г. Завьялова возразила: “Не могу с Вами абсолютно согласиться. Мне кажется, что это зависит и от целей исследования. Если рассуждать с учетом, к примеру, экономических факторов, политических, социальных, то лучше ограничивать данное явление жестко географически. И в этом смысле ни московская диаспора, ни Чайна-таун в Нью-Йорке не являются представителями этой культуры. С точки зрения Китая, это культура маргиналов, которая довольно слабо связана с настоящей китайской культурной традицией. Все зависит от предмета исследования. Если же вы берете какую-либо культурологическую конструкцию, то, пожалуйста, можно говорить о культурном пространстве. Здесь нет таких четких и жестких ограничений, как в первом случае. Если же предмет исследования связан, скажем так, с полевыми данными, с этнографическими и прочими, то тут нужны ограничения”.

Д. Н. Песков задал вопрос о том, не искажается ли предмет исследования, если из него исключаются культура китайцев, живущих за пределами своей родины. По его мнению, вычеркивая влияние разного рода диаспор на центр, Т. Г. Завьялова опускает динамическое измерение культуры и в таком виде китайская культура действительно выглядит предельно статичным образованием, что не соответствует действительности.

Т. Г. Завьялова уточнила свою позицию: “Китайцы вне Китая действительно выпадают из поля зрения центра, они на самом деле не воспринимаются как “настоящие” китайцы. В Европу и Америку едут маргиналы китайской культуры, люди, которые не

смогли закрепиться, выпавшие в определенной мере из китайской общественной системы.

К тому же давайте разграничим практические и теоретические проблемы. В докладе я решала вопрос теоретически, будет ли методологическая рамка «культура “Пост”» продуктивной в отношении современного Китая, и оказалось, да, будет. Естественно, это требует дальнейшей разработки, и возможны какие-то дополнения и изменения”.

А. С. Макарычев вновь вернулся к вопросу о влиянии диаспор на развитие конфуцианской культуры, которое представляется бесспорным. Однако Т. Г. Завьялова не согласилась с его утверждением, обратившись к особенностям китайского менталитета и истории: “Китайская нация до опиумных войн — это нация, которая обладала очень высокой культурой, которая создавалась во многом самостоятельно. Они сами породили эту культуру. А после опиумных войн китайцы пережили два столетия культурного шока и унижения. А такие вещи не проходят бесследно ни в одной стране мира, тем более в Китае.

При этом надо учитывать и тот факт, что китайское общество до сих пор расслоено достаточно жестко. Это очень жесткая социальная структура, максимально регламентирующая поведение и место человека внутри социума. Это и позволило им на сегодняшний день взять своеобразный экономический и культурный реванш, который напрямую должен связать Китайскую народную республику с Китаем прошлого времени. Такой подход сейчас превалирует во всем. Если взять, к примеру, перестройку Пекина в связи с грядущей Олимпиадой, то сами собой приходят ассоциации с великой империей: надо скоростную магистраль построить — снесем два района. За два дня снесут. Надо здесь развязку построить, за два дня сделают”.

На вопрос В. В. Струкова о том, не есть ли готовность откаться от прошлого ради будущего признаком своеобразной культуры “Пост”, Т. Г. Завьялова ответила: “Однозначно сказать трудно, но тот факт, что в Китае происходит что-то такое, что не совсем укладывается в традиционные культурные рамки, это очевидно. К примеру, в качестве несколько комического эпизода, можно рассказать о появлении китайской чайной церемонии. До 2001 г. никто в мире, да и в самом Китае не слышал о ее существовании. Японская была, китайской не было. По поручению партии и была создана “самобытная” китайская чайная церемония. Кстати говоря, это еще один пункт расхождения жителей Китая, которые принимают подобные вещи совершенно спокойно и серьезно,

от диаспоры, которая иронизирует по этому поводу. Всем известное высокомерие китайской нации и здесь находит себе очередное основание, источник”.

Тема “подвижной” и “гибридной” идентичности получила развитие благодаря выступлению С. П. Толкачева, который предложил участникам семинара свою концепцию такого современного феномена, как мультикультурализм, рассмотренный на материале творчества современных британских писателей.

Кандидат филологических наук *М. Н. Недосейкин* (ВГУ) задал докладчику вопрос о том, в чем заключаются основные особенности мультикультурной литературы, носят ли они проблемно-тематический характер или затрагивают и поэтику.

С. П. Толкачев полагает, что эти особенности есть и в сфере поэтики: “Они основаны на определенных ключевых теоретических понятиях. Например, понятие “мимикрия”, которое подразумевает мимикрию как подражание жителей бывших колоний имперскому центру, так и отчасти мимикрию и подражательство господствующего дискурса тем мультикультурным реальностям, которые сейчас составляют суть и основу жизни имперских центров, как, например, Лондон. В художественном плане мимикрия хорошо и четко разработана в романе лауреата Нобелевской премии Найпола.

Второй очень важный момент, упомянутый и в моем докладе, и в докладе Рэнделла Стивенсона, это момент гетерогенности, гетероглоссии. Именно гетерогенность и гетероглоссия выступают как репрезентация гибридной культурной идентичности и являются главным признаком и объектом анализа в художественных произведениях мультикультурных писателей.

Что касается главного вопроса материи литературы под названием “язык”, поскольку мы не можем говорить ни о литературе, ни об идее произведения без анализа самого языка этих произведений, то там тоже наблюдаются очень интересные и важные феномены, которые имеют свое вполне определенное название. Например, такой феномен, как использование непереводаемых слов, а также лингвистические эксперименты, которые проводит Рушди в своих романах. К ним можно отнести слияние корней чисто британских слов и корней из языка хинди или урду, использование различных суффиксов. Так, в качестве уменьшительного суффикса в романе “Дети полуночи” Рушди использует суффикс, совершенно не свойственный английскому языку.

Очень важен также момент, который различные исследователи определяют как момент реверсификации, т. е. наделения новым значением известных английских слов, которые используются для

описания новых культурных реалий, привнесенных писателями-иммигрантами из тех именно культур, посланниками которых они отчасти являются в рамках господствующего британского дискурса”.

С. Н. Зенкин заинтересовался степенью новизны описываемых докладчиком явлений и хотел бы знать, не существовали ли они и в более ранние исторические эпохи.

Отвечая на вопрос, С. П. Толкачев пояснил: “В истории, литературе, в теории, с которой мы с вами соприкасаемся, нет ничего революционно нового, и каждая теория на спиральном уровне повторяет то, что уже было. Момент миграции, глобализации уже был: Европа эпохи переселения народов. Но сейчас это именно новый виток, который характеризуется качественно новыми этнокультурными реалиями. Если Европа начала средневековья характеризовалась смешением европейских народов и культур, то сейчас этот ареал смешения расширяется в силу того, что и информационные технологии, и возможности путешествий стали существенно иными. Кроме того, есть в истории факт существования знаменитой андалусийской цивилизации, которая являлась поликонфессиональным государством на протяжении нескольких веков и как раз являлась воплощением той мечты человечества, т. е. той цивилизации, в которой могли сплаваться и существовать различные культуры и даже конфессии: католицизм, ислам и другие”.

Следующий вопрос докладчику задал В. В. Струков: “В вашей концепции мультикультурализма получается так, что есть культура переселенцев-мигрантов, есть культура потомков этих переселенцев. Выходит, что в этой картине нет коренной культуры, что мультикультурализм как бы выдавливает традиционные культуры. Или же это уже не называется мультикультурализмом?”

С. П. Толкачев: “Я не случайно сделал уточнение в самом начале доклада о том, что буду вести речь не столько о глобальных проблемах мультикультурного пространства и мультикультурной литературе, сколько о мультикультурном контексте в английской литературе. Это означает, что — я завершал этим свой доклад — творчество этих писателей-мультикультуралистов может существовать только вокруг какой-то осевой, господствующей, доминирующей, традиционной культуры. И, конечно, в ближайшем будущем я позволю себе высказать здесь гипотезу, что мультикультурная литература вряд ли станет осевой литературой, которая заменит полностью традиционную, британскую, английскую литературу.

И еще один очень важный аспект, который был поднят в докладе Стивенсона Рэндалла и который также активно дискутируется в среде специалистов. Это вопрос о соотношении постмодер-

нистского и постколониального, насколько эти понятия друг друга заменяют, дополняют, противостоят..... Я придерживаюсь мнения тех исследователей, которые говорят, что эти два понятия взаимно налагаются, они взаимопереплетаются, как в геноме человека, но в любой отдельный момент они могут разделиться и присоединить к себе в качестве двойника другое явление. О том, что постмодернизм и постколониализм — вещи достаточно схожие, свидетельствует набор тех критических категорий, которые совпадают и используются исследователями той или иной части литературы (это интертекстуальность, разрушение линейного времени при анализе хронотопа и так далее). В то же время, такие понятия, как гетероглоссия, обычно используются именно при анализе постколониальной литературной продукции. Гетероглоссия в постколониальной литературе — это именно многоголосие этнического, культурного порядка, то, чему в классическом постмодернистском дискурсе не уделяется достаточного внимания. В любом случае есть даже такие парадоксальные мнения, что постмодернизм является частью постколониализма, что мы все наследники постколониальной системы и то, что Россия, наверное, может также считаться отчасти постколониальным пространством, на котором в муках рождается новое мультикультурное общество. Если взять наши мегаполисы, по крайней мере Москву, там сосуществование различных диаспор является уже реальностью.

Я считаю, что литературе принадлежит главенствующая роль в формировании мультикультурных обществ. Я знаком с творчеством не только английских, но и некоторых русских, русскоязычных, авторов. Это, например, роман одного азербайджанского писателя, который пишет на русском языке, и если прочесть внимательно его текст, то очень ясно видно, что этот текст именно мультикультурный, поскольку много реалий, непередаваемых слов, которые свидетельствуют о том, что человек находится в том третьем пространстве, когда он должен писать на русском языке и тем не менее описывать реалии тех этнокультурных корней, с которыми он родился и которые он несет в своих генах.

Своеобразным теоретическим обобщением рассматриваемых проблем стал доклад кандидата филологических наук, доцента *В. Г. Тимофеева* (СПбГУ), наметивший историю понятия “постмодернизм” в литературоведении и проследивший его соотношение с понятием “модернизм”.

Комментируя доклад *В. Г. Тимофеева*, *М. Н. Недосейкин* напомнил, что постмодернизм, стараясь определить собственную сущность, действует, как и другие эпохи европейской культуры, довольно просто: он противопоставляет себя предыдущей эпохе и

при этом всячески упрощает ее содержание. В силу этого вопрос об исторической преемственности сразу оказывается в подвешенном состоянии, что и позволяет постмодернизму говорить о себе как о “конце” истории. М. Н. Недосейкин поинтересовался мнением В. Г. Тимофеева о том, не может ли подобная стратегия привести к тому, что через некоторое время постмодернизм будет выглядеть как некоторого рода научное недоразумение.

Разъясняя свою позицию по этому вопросу, В. Г. Тимофеев сказал: “Вы прекрасно знаете, что очень часто мы имеем дело с собственными “химерами”, которые вырабатываются учеными в многочисленных статьях и книгах. Если же мы описываем литературный процесс, то, вероятно, необходимо исходить из анализа конкретного литературного текста, а не ссылаться друг на друга. Если анализировать любой текст классиков постмодернизма, то, если говорить серьезно, мы не найдем там ни одного момента или приема, которого не было бы в литературе предшествующей. Другое дело, что каждый текст может гипертрофировать ту или иную тенденцию и довести ее до состояния страшной “выпяченности”, в то время как у Набокова, Джойса или у Хаксли это все было, но наряду с еще шестью или десятью семантическими или формальными явлениями. Однако этого очевидного факта, как мне представляется, еще не достаточно, чтобы мы судили однозначно о том, что такое постмодернизм.

При этом все время есть некая недоговоренность в очень важных теоретических моментах: то мы объявляем, что никакого художественного метода не существует, и метод остался только как удобный способ излагать нашим студентам историю литературы, а то вдруг забываем, что мы договорились об этом, и начинаем о новом явлении рассуждать так, как будто это метод. Слово не используем, а неозвученные характеристики применяются с искренним убеждением, что это метод, причем метод, понятый абсолютно в марксистском духе, что у него есть какие-то границы, в то время как основная часть наших западных коллег этим аппаратом вообще не владеет, у них нет признаков метода/не-метода.

Перед поездкой сюда я читал работу своего коллеги, у него шесть раз использовалось слово “модернизм”, всего лишь шесть раз, но при этом в четырех значениях, и они не были оговорены: модернизм как эпоха, как временная характеристика, как будто метод, как трансформация идиостиля. И если мы не решили для себя до конца, что нам делать с этим теоретическим наследием, то все можем оказаться в положении Д. Затонского, который

предложил всю историю европейской литературы рассматривать как смену двух “парадигм” — модернизма и постмодернизма.

Повторю еще раз: существует различие научных традиций. Западное литературоведение никогда не отличалось склонностью к историзму, на чем русское литературоведение базировалось. В настоящее время мы пытаемся соединить почти врожденную, вбитую в нас, склонность к теоретизированию на основе историко-литературного материала с западной легкостью словесных игр, особенно заметной у французских философов-постмодернистов. Именно поэтому нам очень сложно бывает определить, о чем мы собственно ведем речь”.

Н. А. Соловьева поддержала мнение В. Г. Тимофеева о многозначности и расплывчатости тех терминов, которые употребляются в отечественных гуманитарных науках. С ее точки зрения, “надо быть предельно осторожными и корректными по отношению к терминологическим новообразованиям. К примеру, слово “модернизм”, когда оно только появилось в XX в., предполагало не какое-то единое движение в искусстве и в литературе. Если поставить в один ряд Вирджинию Вулф, Джойса и Лоуренса, то необходимого для направления единства мы не обнаружим. Хотя это все модернизм, другое дело, что это слово было связано с фактом смены, перехода от одной культурной парадигмы к другой. Подобного рода контаминации происходят, как мне кажется, абсолютно в конце каждого века.

Это удивительная повторяемость: так было при смене нормативной поэтики на ненормативную в конце XVIII в. — начале XIX в., так было в начале XVIII в., и поэтому можно говорить о том, что мы вступили во вполне определенную эпоху, уже хорошо знакомую.

Слово “пост” в русской традиции совершенно отличается от традиции английской. Очевидно, что мы столкнулись с исторической несуразностью. Вообще, надо сказать откровенно, постмодернизм содержит очень большую долю неясности. А тот факт, что он относится именно к данному, конкретному отрезку времени, позволяет сюда включить все абсолютно: и постмодернизм в культуре, и постмодернизм в поведении, и в речи, и в чем угодно, что окончательно все запутывает.

Например, постмодернизм в науке о литературе произвел удивительный феномен, слив две совершенно несовместимые традиции: западную и русскую. И получилось, что из формальной русской школы были взяты почти все элементы для всех существующих литературоведческих школ XX в.: вы можете найти эти эле-

менты и в постструктурализме, и в деконструктивизме, и в новом историзме, и в культурном материализме — везде. В этом просто надо долго и скрупулезно разбираться, нужно разобраться в русской традиции восприятия этого термина: что он обозначает и что несет. Если он предполагает отказ от категории нового, тогда мы попробуем осмыслить его с учетом этого положения. Если мы встретим здесь что-то принципиально новое, что тоже возможно, потому что постимпрессионизм — это действительно новое, тогда мы постараемся проанализировать конкретный материал сквозь призму этой историко-культурной модели.

Мне кажется, что это и есть путь, по которому стоит идти в сторону решения нашей проблемы. Ведь в каждой культуре есть три компонента: старое, современное и будущее. Когда мы в современном состоянии, мы отказываемся от каких-то старых элементов, в старом невозможно оставаться.

И еще одно замечание. Все эти составляющие постмодернизма — интертекстуальность, игра и так далее — существовали с незапамятных времен. В XVIII—XIX вв. вы можете найти интертекстуальность в еще более интересном виде, чем у постмодернистов. С литературной игрой дело обстоит точно так же. Но все вместе составляет, тем не менее, другое. Допустим, роман Мартина Эмисса “Деньги” ни капли не похож на стернианскую традицию. Все дело в системе. Когда отдельные элементы превращаются в систему, тогда уже это новое. А если рассматривать феномен как сумму отдельных элементов — то это не новое, а скорее некое переходное, аморфное состояние. Другое дело, что обнаружить этот новый принцип построения системы — вещь довольно трудная, тут не обойтись без временной перспективы, иначе говоря, будем надеяться, что будущее поможет нам все расставить по своим местам”.

С. П. Толкачев разделил суждение Н. А. Соловьевой о докладе В. Г. Тимофеева. Рассуждая о соотношении терминов “модернизм” и “постмодернизм”, он привел аналогию: “В психологии при аутотренинге рекомендуют употреблять позитивные термины. Нельзя говорить “у меня неплохое настроение”, надо — “у меня хорошее настроение”. Говоря “постмодернизм”, мы всегда будем подсознательно иметь в виду модернизм, говоря о посткоммунизме, говоря о постколониализме, мы всегда будем иметь в виду то наследие, от которого хотела бы откеститься доминирующая система. Термины с приставкой “пост”, с одной стороны, привязывают нас к прошлому и, с другой стороны, не дают возможности диалектически осмысливать новое явление. Если употреблять термин “постмодернизм”, то мы молчаливо соглашаемся,

что это нечто, продолжающее модернизм. Правда, просто отмахнуться от подобного рода мышления сложно, просто так это не произойдет. Да и поиск новых терминов, проверка их работоспособности также может занять много времени и сил”.

Тема эволюции постмодернизма, его влияния на современный политический дискурс (в частности, придание ему иронического измерения, что ставит вопрос о “прозрачности” политики как таковой), вопросы его зарождения и связи с феноменом массовой культуры, принцип интертекстуальности — все эти темы оставались в центре внимания участников семинара. Новые доклады предлагали дополнительный материал, который давал иной ход размышлениям о тех феноменах современной жизни, что принято описывать с помощью приставки “пост”. Особый интерес вызвал в связи с этими проблемами доклад Н. А. Соловьевой, посвященный последней книге английского писателя П. Акройда “Лондон”. По завершении доклада среди участников семинара развернулась дискуссия по проблеме “массовое искусство и постмодернизм”.

В. В. Струкова заинтересовало, можно ли говорить о том, что Акرويد в этом произведении, в этой биографии города всерьез использует приемы массового искусства, или все-таки он иронически от них дистанцируется. По мнению Н. А. Соловьевой перед нами ироническая игра с подобного рода расхожими штампами, хотя при этом и серьезности в произведении хватает. М. К. Попова заинтересовалась, возможно ли появление подобного рода текста в нашей стране. Отвечая на него, автор доклада обратилась к творчеству Б. Акунина: “Тот факт, что Акунин использует “постмодернистские” литературные приемы, ни у кого не вызывает сомнения. Однако восприятие его произведений идет в диаметрально противоположном постмодернизму направлении. Можно сказать, что подобный иронический подход оказался неприемлемым для многих русских читателей, которые привыкли относиться к литературе серьезно. Люди всерьез увлекаются этими романами, не чувствуя подвоха. Именно поэтому, как мне кажется, на сегодняшний момент в нашей стране произведений подобных акройдовским ждать не приходится”.

Последний блок докладов в какой-то степени обобщал многие затронутые раньше темы и проблемы, намечая одновременно новые перспективы для дальнейшей научной разработки понятия культуры “Пост”. Если в докладе профессора Н. Конди речь шла о соотношении концепции постколониализма и современной российской культуры, то рассуждения Д. Н. Пескова касались взаимовлияния культуры “Пост” и Интернета. Своеобразным итогом

было выступление профессора А. С. Макарычева, в котором предпринималась попытка классификации всех значений, закрепленных в самых различных областях человеческой деятельности за термином “постмодернизм”.

А. С. Макарычев задал вопросы Ненси Конди: “Во-первых, можно ли дать четкое и ясное определение империалистическому сознанию? Как мне кажется, в Вашем докладе не учитывался важный момент этого феномена, а именно пространственно-территориальные характеристики. Во-вторых, правильно ли я понял Вашу мысль, что условие создания национального государства заключается в деимпериализации?”

Н. Конди пояснила: “В этих вопросах я придерживаюсь взглядов, которые развивали в своих работах такие ученые как Б. Андерсон, Т. Мартин, Р. Джуди. Империя — это комбинация разных компонентов, элементов (нации, государства и т. д.), находящихся в строгих отношениях субординации. В связи с этим принято говорить о формальных и неформальных империях. Пример второго типа — это страны Варшавского договора, пример первого типа — 15 союзных республик.

Понятия государства и нации, конечно же, отличаются от империи. Думается, что главным критерием, который их отличает, будет следующий: в государстве все граждане находятся на одном уровне, если можно так выразиться. В любой же империи существует строгая иерархия наций или государств. Другое дело, что в чистом виде такие феномены не встречаются. США — как раз хороший пример постоянной борьбы за создание государства и постоянных усилий не оказаться империей”.

В дискуссию включилась Т. А. Никонова, высказав суждение о том, что термин “постколониализм” мало подходит к России. “Государство”, “общество”, “страна” — эти категории не менее продуктивны при решении данной проблемы. В ответ Н. Конди подчеркнула, что ведь именно нация дает государству право на легитимность, именно она лежит в основе таких образований как общество, страна и т. д. Следовательно, данная терминология соответствует вполне определенному научному взгляду на эту проблему. По мнению В. В. Струкова, «здесь стоит говорить о двух разных режимах. Одно дело идеология империи, на уровне которой процветает равенство всех наций или государств. И совсем иначе все выглядит в реальной жизни, однако подход к концептуализации “реального” имперского сознания только разрабатывается, в силу его неуловимости обычным научным аппаратом. Такая же ситуация происходит и с соотношением понятий “империя” и

“демократия”». С точки зрения Д. Н. Пескова, “условием для появления национального государства все-таки является именно равенство, когда у всех наций есть равные возможности для политической, культурной, экономической карьеры. СССР в этом смысле представлял собой весьма странное образование, ведь Россия была неким пустым центром, который везде и нигде. Россия растворялась во всех остальных республиках. В современной России этого уже нет. Поэтому и нельзя точно ответить на вопрос, были ли СССР империей некоего классического типа, и создаем ли мы сейчас в своей стране национальное государство. Все понятия здесь оказываются смещены”.

Дискуссии, разворачивавшиеся на каждом заседании международного научного семинара “Культура “Пост”: истоки, основные черты и границы явления”, как явствует из приведенных фрагментов, носили острый характер и поставили многие вопросы, которые требуют дальнейшего изучения.

Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова

КУЛЬТУРНЫЕ ТАБУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ КОММУНИКАЦИИ

23—25 ноября 2004 г. Воронежский МИОН организовал совместно с факультетом романо-германской филологии Воронежского государственного университета международную конференцию на тему “Культурные табу и их влияние на результат коммуникации”. Данная конференция была одной из составных частей проекта “Взаимопонимание в межкультурном диалоге: Условия успешности и факторы риска”. 25 ноября после пленарного заседания состоялся круглый стол на тему “Культурные табу и социализация личности”.

В первый день конференции ее участники получили для круглого стола анкету с рядом вопросов:

1. Согласны ли Вы с тем, что табуирование и запреты в настоящее время отживают свой век как социально значимый феномен?
2. Когда появились табу? Каковы истоки и источники табу?
3. Какие функции имеют культурные табу?
4. Как бы Вы охарактеризовали степень жесткости табу?
5. Есть ли связь между типом социума и характером культурно-табуирования?
6. Степень обязательности следования культурным табу?